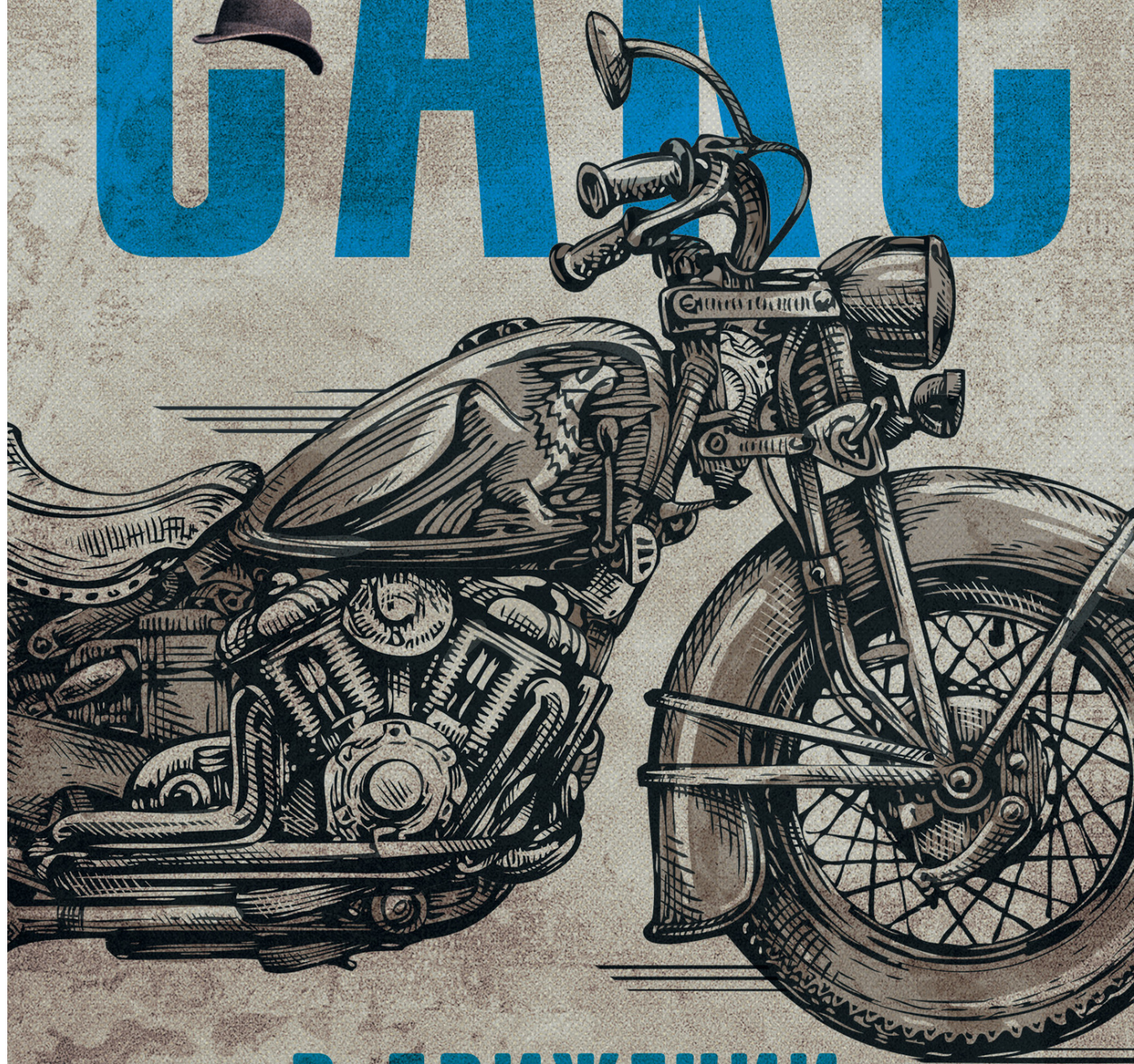


О Л И В Е Р

# САКС



В ДВИЖЕНИИ.  
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

18+



Шляпа Оливера Сакса

Оливер Сакс

**В движении. История жизни**

«Издательство АСТ»

2015

УДК 159.9  
ББК 88.4

**Сакс О.**

В движении. История жизни / О. Сакс — «Издательство АСТ»,  
2015 — (Шляпа Оливера Сакса)

ISBN 978-5-17-091337-4

Оливер Сакс – известный британский невролог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых – «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» – стали международными бестселлерами. Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу. История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века. История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука». История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты. История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.

УДК 159.9  
ББК 88.4

ISBN 978-5-17-091337-4

© Сакс О., 2015

© Издательство АСТ, 2015

# Содержание

Вечное движение	7
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Оливер Сакс

## В движении. История жизни

Oliver Sacks

On the Move: Autobiographical Work

© Oliver Sacks, 2015

© Перевод. В. Миловидов, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

\* \* \*

*Посвящается Билли*

*«Жить нужно, глядя вперед, но понять жизнь можно, только  
оглянувшись назад».*

***Кьеркегор***

## Вечное движение

Во время войны, когда я был совсем маленьким мальчиком, меня заточили в частной школе, итак, лишенный возможности наслаждаться хоть малой толикой независимости, я мечтал о свободе и власти, о сверхсвободе и супервласти. Я чувствовал себя свободным лишь по ночам, когда мне снилось, что я летаю и во время конных прогулок по соседней деревне. Мне полюбились гибкая красота и мощь моей лошади; я до сих пор помню, какая радостная легкость сквозила во всех ее движениях, ощущаю ее тепло и исходящий от нее тонкий запах сена.

Но больше всего я любил мотоциклы. До войны у моего отца был мотоцикл от фирмы Альфреда Скотта под названием «белка-летяга» – большой двигатель с водяным охлаждением и резким, пронзительным выхлопом. Мне тоже хотелось иметь мощный мотоцикл! В моем воображении сливались воедино образы мотоциклов, лошадей и самолетов, равно как и образы мотоциклистов, ковбоев и пилотов – эти парни уверенно справлялись со своими обязанностями, каждую секунду рискуя, но торжествуя над опасностью. Моя детская фантазия питалась вестернами и кинофильмами о героических воздушных боях, где, невзирая на опасность, сражались на «харрикейнах» и «спитфайрах» бесстрашные летчики, защищенные от пуль только своими толстыми летными куртками – как защищали себя от опасности кожаными куртками и шлемами храбрые мотоциклисты.

Когда в 1943 году десятилетним подростком я вернулся в Лондон, любимым моим местом стало окно, возле которого я сидел, пытаясь опознать проносящиеся по улице мотоциклы (после войны с бензином уже не было проблем, и мотоцикл стал обычным средством передвижения). Я мог уже различать с дюжину, а то и больше марок: «эй-джей-эс», «триумф», «би-эс-эй», «нортон», «мэтчлесс», «винсент», «велосетт», «ариэль» и «санбим», а также редкие иноземные машины, такие как «БМВ» и «индианс».

В компании двоюродного брата, моего единомышленника, я регулярно наведывался в «Кристал-Палас», посмотреть мотогонки. Часто на попутках я отправлялся на север Уэльса, в Сноудонию, чтобы ползать по скалам, или в Озерный край, поплавать. Иногда меня подхватывал мотоциклист, и тогда, устроившись на заднем сиденье, я с восторгом представлял, как однажды подо мной окажется собственный сияющий, мощный мотоцикл.

Когда мне исполнилось восемнадцать, у меня появился первый мотоцикл – подержанный «бэнтам» Бирмингемской оружейной компании, с маленьким двухтактным двигателем и, как потом оказалось, неисправными тормозами. В первую поездку я отправился на дорожки Риджентс-парка, и мне там решительно повезло (может быть, только чудом я и остался жив): я дал полный газ, и у меня тут же заклинило дроссель, а тормоза оказались настолько никудышными, что не смогли ни остановить, ни хотя бы замедлить движение мотоцикла. Вокруг Риджентс-парка идет кольцевая дорога, и вот я, верхом на мотоцикле, принялся гонять по ней по кругу, неспособный остановиться. Я кричал пешеходам, чтобы предупредить их о своем приближении, и, после того как сделал два или три полных круга, все уже заранее уступали мне дорогу и, когда я вновь проносился мимо, кричали слова одобрения и поддержки. Я знал, что в конце концов, когда кончится горючее, мотоцикл остановится. После дюжины кругов, сделанных мною вокруг парка, это и произошло: двигатель вдруг зафыркал, коротко всхлипнул и заглох.

Конечно, первым и главным противником того, чтобы я ездил на мотоцикле, была моя мать. Я был готов к этому, но больше всего меня удивило то, что против моего увлечения выступил и отец, который раньше сам гонял на мотоцикле. Поначалу они попытались отвлечь меня от мотоциклов, купив мне маленькую машину «стандарт» 1934 года, которая едва делала сорок миль в час. Я быстро возненавидел малышку и однажды, поддавшись импульсу, продал, использовав вырученные деньги на покупку «бэнтама». Теперь я мог объяснить родителям, что

хилый автомобиль или мотоцикл вполне могут угробить владельца, поскольку у них не хватит мощности, чтобы вытащить его из беды, и что гораздо безопаснее иметь большую мощную машину. Родители с неохотой, но согласились и субсидировали меня на покупку «нортон».

На своем первом «нортоне», машине с двигателем в двести пятьдесят кубиков, я дважды едва не попал в аварию. В первый раз случилось так, что я подлетел к светофору слишком быстро и, понимая, что ни затормозить, ни свернуть я уже не смогу, рванул наперерез двум движущимся навстречу друг другу потокам машин, каким-то чудом проскользнул, а потом, проехав по инерции еще квартал, припарковался в первом же переулке и потерял сознание.

Второй случай произошел ночью, в дождь, на извилистой сельской дороге. Мчавшаяся навстречу машина, не включившая ближний свет, ослепила меня. Я думал, что лобового столкновения не избежать, но в последний момент успел соскочить с мотоцикла (выражение, слишком вялое для описания потенциально фатального маневра, который тем не менее спас мне жизнь). Мотоцикл полетел в одну сторону (он избежал столкновения с машиной, но был полностью разбит), а я – в другую. К счастью, на мне были шлем, тяжелые башмаки и перчатки, а также кожаная куртка и брюки, так что, хотя меня и протащило ярдов двадцать по поливаемой дождем дороге, я был так хорошо защищен одеждой, что не получил ни царапины.

Родители были шокированы, хотя и рады, что я остался цел, а потому не сильно препятствовали моей покупке еще более мощного мотоцикла – «нортон-доминатора» с движком на шестьсот кубиков. К этому времени я уже закончил Оксфорд и должен был переехать в Бирмингем, чтобы первые шесть месяцев 1960 года работать там в качестве хирурга-практиканта. Совсем недавно было открыто шоссе М1 между Бирмингемом и Лондоном, и я заявил, что с новым мощным мотоциклом смогу каждый уикенд приезжать домой. Ограничения скорости на шоссе не было, и весь маршрут занял бы у меня чуть больше часа.

В Бирмингеме я свел дружбу с группой мотоциклистов и вкусил радость принадлежности обществу единомышленников-энтузиастов; до этого я был гонщиком-одиночкой. Места вокруг Бирмингема были девственно-чисты, и особым удовольствием было для меня проехаться до Стрэтфорда-на-Эйвоне и посмотреть какую-нибудь из идущих там пьес Шекспира.

В июне 1960 года я отправился на остров Мэн, посмотреть ежегодные мотогонки «Турист-Трофи», или, как их еще называют, мотогонки «ТТ». Мне удалось раздобыть нарукавную повязку «Скорой помощи», и, проникнув под ее прикрытием в зону для гонщиков, я смог потереться возле них, послушать разговоры и разглядеть многие детали их спортивного быта. Все это я аккуратно записывал, намереваясь сочинить роман о мотогонщиках, участвующих в состязаниях на острове Мэн. Материала я набрал много, но роман с места так и не сдвинулся<sup>1</sup>.

В пятидесятые годы на лондонской Северной кольцевой дороге также не было ограничений по скорости, что было крайне заманчиво для тех, кто любит быструю езду. Там же располагалось знаменитое кафе «Туз», настоящий дом родной для мотоциклистов, владельцев мощных машин. «Сделать тонну», то есть сотню миль в час, было минимальной планкой для тех, кто хотел стать членом клуба «Парни-с-тонной-на-спидаке», этого «закрытого» клуба для избранных.

В ту пору довольно большое количество мотоциклов было способно «сделать тонну», особенно если машины были прокачаны, освобождены от лишнего веса (включая выхлопную трубу) и заправлены высокооктановым горючим. Не менее захватывающим делом были гонки на скорость по второстепенным магистралям, и ты запросто мог получить вызов от кого угодно, едва переступив порог кафе. Правда, излишний риск и демонстрация особой храбрости не

---

<sup>1</sup> В записной книжке, которую я в то время вел, я зафиксировал планы написания пяти романов (включая один про мотоциклистов), а также воспоминаний о своем «химическом отрочестве». Романов я так и не написал, но спустя сорок пять лет сочинил мемуары о дядюшке Вольфраме.



поощрялись, поскольку на Северной кольцевой и в те времена было более чем оживленное движение.

Я никогда особо не рисковал, но обожал гонки на маленьких дорогах. У моего «домми» с цилиндрами объемом шестьсот кубиков был слегка форсированный двигатель, но и в таком виде он не мог соперничать с тысячекубовым «винсентом», основной машиной членов «закрытого» клуба в кафе «Туз». Однажды я попробовал на нем проехаться, но мне он показался слишком неустойчивым, особенно на малых скоростях, и в этом отношении не шел ни в какое сравнение с моим «нортоном», у которого рама была что «пух» и который на любых скоростях демонстрировал чудеса устойчивости. (Мне было интересно: а нельзя ли к «нортону» подвесить движок от «винсента», и через несколько лет я узнал, что такая модель появилась – «норвинс».) Когда были введены ограничения скорости, «делать тонну» было уже нельзя, мы лишились нашего главного удовольствия, и кафе «Туз» утратило для нас свою прелесть.

Когда мне было двенадцать, мой проницательный классный руководитель написал в своем отчете: «Сакс пойдет далеко, если не уйдет *слишком* далеко». И в этом-то было все дело. Мальчиком иногда я слишком далеко заходил в своих химических экспериментах, наполняя весь дом ядовитыми газами. К счастью, сжечь дом мне не удалось.

Я любил лыжи, и, когда мне исполнилось шестнадцать, мы с одноклассниками отправились в Австрию покататься с гор. На следующий год я в одиночку поехал в Норвегию, в Телемарк, заняться лыжным кроссом. С лыжами все обошлось лучшим образом, но перед тем, как сесть на паром, идущий в Англию, в магазине дьюти-фри я купил пару литров скандинавской тминной водки, а потом пошел через норвежский пункт пограничного контроля. Что касается норвежских правил, то вывезти я мог сколько угодно бутылок, но ввезти в Англию (так мне сказали норвежские таможенники) я мог только одну, и вторую английская таможня была обязана конфисковать. Сжав в руках бутылки, я поднялся на корабль и отправился на верхнюю палубу. Стоял удивительно ясный и очень холодный день, но холод меня не страшил, поскольку на мне был теплый лыжный костюм. Все пассажиры укрылись внутри парома, я же в гордом одиночестве расположился на верхней палубе.

У меня была книга – я медленно, со вкусом, читал «Улисса» – и моя тминная водка; ничто так не согревает изнутри, как алкоголь. Убаюкиваемый нежно-гипнотическим подрагиванием корабля, я сидел на палубе, погрузившись в книгу и время от времени потягивая спиртное, и через некоторое время с удивлением обнаружил, что выпил небольшими порциями почти полбутылки. Эффекта я не заметил, а потому продолжал читать и потягивать из уже более чем наполовину опустошенной бутылки. Удивлению моему не было предела, когда я почувствовал, что паром причаливает; оказывается, я был так поглощен «Улиссом», что не заметил течения времени. Бутылка была уже пуста, результата я по-прежнему не ощущал. Наверняка, думал я, водка оказалась слабее, чем должна быть, хотя на этикетке было указано содержание спирта – 50 градусов. Ничего странного я не почувствовал, пока не встал на ноги и тут же упал лицом вниз. Меня это страшно удивило! Неужели корабль неожиданно сделал резкий маневр? Я снова встал и снова растянулся.

Теперь до меня стало доходить, что я пьян, пьян в стельку, хотя алкоголь, вероятнее всего, поразил только мозжечок. Когда на палубу поднялся матрос, проверить, все ли пассажиры покинули паром, он столкнулся со мной: я отчаянно пытался передвигаться, помогая себе лыжными палками. Позвав на помощь другого матроса, мой спаситель проводил меня к выходу. Хотя я и с трудом стоял на ногах, привлекая всеобщее (главным образом, добродушно-оживленное) внимание, но ощущал гордость: я победил систему, покинув Норвегию с двумя бутылками водки, а в Англию приехав с одной. Я обманул таможню Соединенного Королевства ровно на одну бутылку, которую, уверен, английские таможенники с удовольствием употребили бы сами.

1951 год был полон событий, причем достаточно печальных. В марте умерла тетушка Бёрди, которая была постоянной спутницей моего существования с самого рождения; и мы все ее любили беззаветно. Бёрди была хрупкой женщиной, довольно скромных умственных способностей, чем отличалась от прочих братьев и сестер матери. Говорили, что в детстве тетушка получила травму, которая сказалась на функции ее щитовидной железы. Но все это не имело никакого значения – Бёрди была просто Бёрди, неотъемлемой частью нашей семьи. Смерть ее произвела на меня неизгладимое впечатление, и, вероятно, я только тогда понял, как тесно жизнь тетушки была связана с моей, с жизнью каждого из нас. Когда за несколько месяцев до печального события я получил из Оксфорда известие, что выиграл стипендию, именно тетушка Бёрди передала мне телеграмму, обняла и поздравила, одновременно всплакнув – она понимала, что мне, младшему из ее племянников, предстоит вскоре покинуть родной дом.

В Оксфорд мне предстояло отправиться в конце лета. Мне только исполнилось восемнадцать, и отец решил, что настало время ему серьезно поговорить со мной, как отцу с сыном. Мы поговорили о том, сколько он мне будет высылать, но с этим разобрались быстро, поскольку я был достаточно бережлив и единственной моей страстью были книги, на которые я денег не жалел. Потом отец перешел к теме, которая его действительно волновала.

– У тебя не так уж много подружек, сынок, – вопросительно посмотрев на меня, сказал он. – Ты плохо относишься к девушкам? Они тебе не нравятся?

– Да почему? Нормально отношусь, – ответил я, желая, чтобы разговор прекратился как можно скорее.

– Может быть, ты предпочитаешь мальчиков? – настаивал отец.

– Да, это так, – признался я. И поспешно добавил, со страхом: – Но только в душе. Ничего такого я не делал... И не говори маме, пожалуйста, она не поймет.

Но отец рассказал ей, и на следующее утро мать спустилась в гостиную с лицом, предвещавшим бурю, какого я у нее не видел никогда.

– Ты омерзителен, – произнесла она. – Напрасно я тебя родила.

Потом она ушла и не разговаривала со мной несколько дней. Когда наконец она прервала молчание, то уже не напоминала об этом (не возвращалась она к разговору и потом), но что-то в наших отношениях изменилось. Моя мать, такая открытая, готовая помочь и утешить в прочих случаях жизни, в отношении моих симпатий была жесткой и неумолимой. Любившая, как и отец, читать Библию, она обожала псалмы и стихи Соломоновой «Песни песней»; но помнила она и ужасные строки из книги Левит:

«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость».

Родители мои, будучи оба врачами, имели в своей библиотеке много медицинских книг, в том числе и по сексопатологии. К двенадцати годам я уже проштудировал книги Крафт-Эбинга, Хиршфельда, Хэвлока Эллиса. Но мне трудно было признать, что моя жизнь может быть сведена к некоему «состоянию», а личность – к имени или диагнозу. В школе друзья знали, что я «отличаюсь» от них – хотя бы потому, что я избегал вечеринок, которые заканчивались тем, что парни начинали лапать девчонок и нежничать с ними.

Зарывшись в книги по химии, а потом и биологии, я не очень замечал то, что происходило вокруг или внутри меня. В школе я так ни с кем и не «закрутил» (хотя и испытал сильнейшее возбуждение, когда на лестничной площадке впервые увидел полномасштабную копию знаменитой скульптуры обнаженного Лаокоона, мускулистого троянца, который пытается спасти сыновей от змей, посланных Афиной). Я знал, что у некоторых людей сама идея возможности гомосексуальных отношений вызывает ужас. Подозреваю, что именно так дело обстояло с моей матерью, почему я и попросил отца ничего ей не говорить. Наверное, мне не стоило посвящать в это и отца, поскольку я полагаю, что моя сексуальность – всецело моя забота.

Она ни для кого не является секретом, зачем же о ней трепаться попусту? Мои ближайшие друзья, Эрик и Джонатан, знают о моей особенности, но мы никогда не обсуждали этот вопрос. А Джонатан вообще говорит, что считает меня «асексуальным».

Все мы – продукт воспитания, культуры нашего времени. И мне не стоило постоянно напоминать себе, что моя мать родилась в 1890 году и получила ортодоксальное воспитание, а в Англии в 1950-е годы гомосексуализм считался не только извращением, но и уголовным преступлением. Я должен был также помнить о том, что секс является одной из таких областей бытия – так же, как религия и политика, – где в остальном вполне приличные и рационально мыслящие люди могут стать жертвой совершенно иррациональных предубеждений. Конечно, моя мать совсем не хотела, чтобы я умер – в буквальном смысле. Просто на нее внезапно «нашло», как я сейчас понимаю, а потом она пожалела о сказанном, и, вероятно, запрятала эти слова в самые потаенные уголки своего сознания.

Но сказанное матерью не оставляло меня на протяжении значительного периода моей жизни, оно культивировало во мне чувство вины и в значительной степени сдерживало то, что должно было быть свободным и радостным выражением сексуальности.

Мой брат Дэвид и его жена Лили, узнав об отсутствии у меня сексуального опыта, решили, что я страдаю от излишней застенчивости и что хорошая женщина, даже просто хороший секс приведут меня в полный порядок. Во время рождественских каникул 1951 года, после моего первого семестра в Оксфорде, они повезли меня в Париж с намерением не только посмотреть достопримечательности – Лувр, Нотр-Дам, Эйфелеву башню, – но и отвести меня к какой-нибудь отзывчивой профессионалке, которая смогла бы определить, на что я способен, а также умело и терпеливо обучить меня основам сексуального поведения.

Была выбрана проститутка подходящего возраста и характера, с которой Дэвид и Лили сначала провели собеседование, объяснив, что и как. Потом в комнату запустили меня. Я был так напуган, что мой петушок превратился в жалкую тряпочку, а яички попытались укрыться в глубине брюшной полости.

Проститутка, которая была похожа на одну из моих тетушек, с ходу разобралась в ситуации. Она хорошо говорила по-английски (это был один из критериев отбора) и сказала:

– Не волнуйся! Выпьем-ка лучше чаю.

Она достала чайные принадлежности, тарелку маленьких пирожных с кремом, поставила чайник и спросила, какой чай я предпочитаю.

– «Лапсанг», – отозвался я. – Мне нравится, что он с дымком, как бы подкопченный.

К этому моменту я уже восстановил голос и обрел уверенность в себе, и мы мило болтали, попивая наш чай «с дымком».

Пробыв полчаса, я ушел. Брат с женой ожидали меня снаружи.

– Ну как, Оливер? – спросил Дэвид.

– Потрясающе, – ответил я, стряхивая крошки с бороды.

Ко времени, когда мне исполнилось четырнадцать, все уже знали, что я должен стать врачом. Врачами были отец, мать и мои старшие братья.

Я же не был уверен, хочу ли продолжить семейную традицию. Не слишком привлекала меня и перспектива стать химиком – теперь химия далеко ушла от популярной в восемнадцатом и девятнадцатом веках неорганической химии, которую я так любил. Но в четырнадцать-пятнадцать лет, воодушевленный примером школьного учителя биологии, а также романом Стейнбека «Консервный ряд», я решил, что хочу стать специалистом по биологии моря.

Когда же я выиграл стипендию в Оксфорде, передо мной встал выбор: сконцентрироваться на зоологии или пойти на подготовительный факультет при медицинском колледже и

заняться анатомией, биохимией и физиологией. Больше всего меня привлекала физиология восприятия: каким образом мы видим и различаем цвет, глубину, движение. Как мы вообще все различаем и узнаем? Каким образом происходит осмысленная визуализация мира? Эти вопросы меня интересовали с детства, и пришел я к ним благодаря терзавшей меня время от времени офтальмической мигрени, потому что, помимо сверкающих зигзагообразных полос, которые я видел во время приступа, развитие ауры сопровождалось утратой восприятия цвета, глубины и движения, а иногда – полной неспособностью распознавать внешние объекты. Образ мира, лежащего перед моими глазами, мог быть разрушен, подвергнут деконструкции, что одновременно пугало меня и восхищало, а затем восстановлен и реконструирован – и все это в течение нескольких минут.

Моя маленькая домашняя химическая лаборатория одновременно стала и фотолабораторией, а особой любовью у меня пользовались цветная фотография и стереофотография. Занимаясь ими, я продолжал размышлять над тем, как мозг конструирует образ цвета и глубины. Мне нравилась биология моря – так же, как когда-то нравилась химия, – но теперь я хотел понять, как работает человеческий мозг.

У меня никогда не было особой уверенности в своих интеллектуальных способностях, хотя меня и считали сообразительным. Как и оба моих школьных приятеля, Джонатан Миллер и Эрик Корн, я был одержим наукой и литературой. Я благоговел перед интеллектом Джона-тана и Эрика и совсем не думал, что они станут со мной водиться, но оказалось, что все мы получили стипендию от университета. Потом у меня начались трудности.

В Оксфорде при поступлении ты должен сдать «предварительный» экзамен; для меня это была формальность, поскольку стипендия у меня уже имелаась. Но я провалил экзамен. Сделал вторую попытку, и вновь неудачно. И в третий раз, отправившись сдавать, я потерпел поражение. Тогда-то мистер Джонс, проректор, отвел меня в сторону и спросил:

– Сакс! Вы же подготовили отличные вступительные работы. Почему вы раз за разом проваливаете этот дурацкий экзамен?

Вопрос остался без ответа.

– Ну что же, – сказал проректор. – Даем вам последний шанс.

Я пошел на экзамен в четвертый раз, и наконец все у меня получилось.

В колледже Святого Павла, где я до этого учился вместе с Эриком и Джонатаном, мы получали удовольствие от преподававшейся там неназойливой смеси гуманитарных и точных наук. Я был президентом литературного общества и одновременно секретарем ботанического клуба. Подобные комбинации были гораздо менее осуществимы в Оксфорде, где факультет анатомии, научные лаборатории и библиотека Рэдклиффа находились поблизости друг от друга, на Саут-Парк-роуд, но довольно далеко от университетских лекционных аудиторий и колледжей, что было причиной формирования и физической, и социальной дистанции между теми из нас, кто занимался точными науками или учился на подготовительных отделениях, и остальным университетом.

Особенно остро я это чувствовал во время своего первого семестра в Оксфорде. Нам было дано задание написать эссе и передать их нашим наставникам, что предполагало долгие часы, проведенные в научной библиотеке Рэдклиффа. Там мы читали научные труды, листали газеты, выбирая то, что казалось нам наиболее важным, чтобы потом представить результаты наших исследований в интересной и оригинальной форме. Я получал огромное удовольствие от чтения работ по нейрофизиологии – передо мной открывалась совершенно новая область знания, но в то же время я все больше понимал, что из моей жизни уходит многое ценное. Я почти ничего не читал за пределами научной литературы, кроме «Биографических очерков» Мейнарда Кейнса, и очень хотел написать собственные «Биографические очерки», правда, с



клиническим уклоном: мои эссе должны были представить людей, наделенных либо необычными слабостями, либо необычной силой, и показать, как эти качества влияют на их жизнь. То, о чем я думал, могло стать серией клинических биографий, неким собранием клинических исследований, клинических случаев.

Моим первым (и, в этом случае, единственным) объектом стал Теодор Хук, на чье имя я набрел, читая биографию Сиднея Смита, великого викторианского мыслителя. Хук, живший лет за двадцать до Смита, также был признанным мыслителем и мастером диалога, но, кроме этого, был он и непревзойденным по силе музыкального дара сочинителем. Известно, что Хук сочинил более пятисот опер – сидя за фортепиано, импровизируя и исполняя все без исключения партии. Это были цветы быстротекущего мгновения – удивительные, прекрасные и эфемерные; Хук импровизировал на месте, никогда не повторяя своих произведений и не записывая сочиненного, – вскоре они забывались, а затем и окончательно были забыты. Я был очарован описанием этого гения импровизации! Какой мозг мог позволить себе такие чудеса?

Я принялся читать все, что было написано о Хуке, а также книги, принадлежавшие его перу. Эти творения показались мне скучными и вымученными – полный контраст с тем, что было написано о его быстрых, как молнии, удивительно изобретательных импровизациях. Я много думал о Хуке и к концу осеннего семестра написал о нем очерк на шесть полноформатных листов убористой печатью, объемом в четыре или пять тысяч слов.

Недавно я нашел очерк в ящике, где лежали и другие мои ранние работы. Читая текст, я был поражен уверенностью изложения, эрудицией, возвышенностью стиля и некоторой претенциозностью. Это совсем не было похоже на мой стиль письма. Может быть, я переписал куски чужих текстов из полудюжины источников, а потом аккуратно соединил их? Или все-таки это был мой текст, исполненный стилем истинного профессионала, которым я тогда уже стал, несмотря на юный возраст?

Но все-таки о Хуке я писал ради развлечения. Основные мои работы касались физиологии, и я должен был еженедельно подавать их своему наставнику. Когда я занялся вопросами, связанными со слухом, я был так воодушевлен, так много читал и думал, что у меня совсем не осталось времени на написание работы. Но в назначенный день я появился перед наставником с блокнотом и начал импровизировать текст, притворяясь, будто читаю его. В одном месте Картер (доктор С. У. Картер, мой наставник в Королевском колледже) прервал меня.

– Я потерял мысль, – сказал он. – Прочтите, пожалуйста, снова.

Немного нервничая, я попытался повторить несколько последних предложений. Картер изобразил недоумение.

– Позвольте взглянуть, – попросил он и протянул руку.

Я передал пустой блокнот.

– Замечательно, Сакс, – проговорил Картер. – Превосходно. Но в будущем потрудитесь записывать свои размышления.

В Оксфорде я имел доступ не только в научную библиотеку Рэдклиффа, но и в Бодлианскую библиотеку – замечательное собрание книг и рукописей, история которого восходит к 1602 году. Именно в ней я набрел на ныне забытые труды Хука. Никакая другая библиотека, за исключением Библиотеки Британского музея, не могла предоставить мне нужные материалы, а царившая там умиротворенная атмосфера создавала замечательные условия для того, кто собирался что-либо писать.

Но самой любимой моей библиотекой в Оксфорде была библиотека Королевского колледжа. Великолепное здание библиотеки, как нам сказали, было спроектировано Кристофером Реном, а под ним, в подземных лабиринтах, где книжные полки соседствовали с трубами отопления, располагались библиотечные фонды.

Держать в руках древние книги, так называемые инкунабулы, было связано для меня с совершенно новыми переживаниями. Особенной любовью у меня пользовались богато иллюстрированная книга Конрада Геснера «Истории животных» (1551) – туда были включены знаменитые рисунки носорога, принадлежавшие Альбрехту Дюреру, – и четырехтомник Луи Агассиса, посвященный ископаемым рыбам. В книгохранилище я видел все первые издания книг Дарвина, и там же я влюбился в работы сэра Томаса Брауна – в его «Вероисповедание врачей», «Гидриотафию, или Погребение в урнах» и «Сад Кира» («Квинкунксиальный квадрат»). Сколько абсурдного было в этих книгах! Но какой стиль! А если временами вам начинало казаться избыточным высокопарное красноречие сэра Брауна, вы могли быстро переключиться на лапидарный стиль и энергичный напор прозы доктора Свифта, чьи книги также находились здесь и, естественно, в своих первых изданиях. Дома я воспитывался на любимых родителями авторах девятнадцатого века; здесь же, в катакомбах библиотеки Королевского колледжа, я приобщился к литературе веков семнадцатого и восемнадцатого – к Джонсону, Юму, Гиббону и Поупу. Все эти книги находились в свободном доступе – не в каком-нибудь особом закрытом хранилище, а стояли прямо на полках, – как стояли, полагал я, с того самого момента, когда вышли из печати. Именно в подвалах Королевского колледжа пустили во мне ростки чувство истории и чувство родного языка.

Моя мать, хирург и блестящий знаток анатомии, смирилась с тем, что я был слишком неуклюж, чтобы пойти по ее стопам в хирургии, но надеялась, что в Оксфорде я достигну высот хотя бы в анатомии. Мы препарировали трупы, слушали лекции и через два года должны были сдать итоговый экзамен. Когда результаты были обнародованы, я обнаружил, что оказался в списке вторым от хвоста. Опасаясь бурной реакции матери, я решил, что пара глотков спиртного мне не помешает. Дойдя до своего любимого паба «Белая лошадь» на Брод-стрит, я залил в себя четыре или пять пинт сидра – гораздо более крепкого, чем пиво, и гораздо более дешевого.

Когда в изрядном подпитии я вышел из «Белой лошади», в голову мне пришла безумная и довольно наглая идея. Свое провальное выступление на итоговом экзамене по анатомии я заглажу тем, что сдам экзамен на престижную университетскую награду – приз Теодора Уильямса по отделению анатомии человека. Экзамен уже начался, но я, безумно храбрый от выпитого, проник в экзаменационный зал и, усевшись за стол, уткнулся в экзаменационное задание.

Ответить нужно было на семь вопросов. Я ухватился за один из них («Подразумевают ли структурные различия также и различия функциональные?») и без остановки писал на эту тему в течение двух часов, мобилизовав в ответе все сведения из зоологии и ботаники, которые у меня имелись. И ушел за час до окончания экзамена, проигнорировав оставшиеся шесть вопросов.

В конце недели результаты появились в «Таймс». Награду выиграл Оливер Сакс. Ошеломлены были все: как мог человек, с трудом сдавший экзамен по анатомии, получить приз Теодора Уильямса? Я же не очень удивился: повторилось то, правда с точностью до наоборот, что случилось на «предварительных» экзаменах в Оксфорд. Я отличаюсь поразительной тупостью на экзаменах, где нужно дать либо положительный, либо отрицательный ответ, когда же требуется написать эссе, я по-настоящему расправляю крылья.

Победа принесла мне пятьдесят фунтов. Столько денег сразу у меня никогда не было. Но на этот раз я пошел не в «Белую лошадь», а в книжный магазин «Блэквелл», в доме рядом с пабом, и за сорок четыре фунта купил двенадцать томов Оксфордского словаря, который был для меня самой желанной книгой в мире. Когда я поступил на медицинское отделение, я прочитал его от корки до корки, но и сейчас время от времени я люблю взять какой-нибудь из томов словаря и почитать на сон грядущий.

Ближайшим другом моим в Оксфорде был Кэлман Коэн, стипендиат фонда Сесилия Родса, молодой специалист по математической логике. До этого мне не приходилось иметь дело с людьми, чьей специальностью была логика; теперь же, общаясь с Кэлманом, я неизменно испытывал чувство восхищения степенью интеллектуальной концентрации, которую тот демонстрировал. Он был способен сосредоточиваться на проблеме и безостановочно обдумывать ее в течение целой недели; в нем кипела страсть к мышлению, а сам акт мышления – вне зависимости от предмета мысли – возбуждал его до чрезвычайности.

Хотя мы сильно отличались друг от друга, ладили мы хорошо. Кэлмана привлекал мой временами избыточно ассоциативный способ мышления – так же, как меня привлекала дисциплина его ума. Он познакомил меня с Гилбертом и Брауэром, гигантами математической логики, а я его – с Дарвином и великими натуралистами девятнадцатого века.

Мы считаем, что средством и целью науки является открытие, а целью и средством искусств – изобретение. Но существует и «третий мир», мир математики, где первое мистическим образом сосуществует со вторым. Например, возьмем простые числа – они что, существуют в некоем вневременном платоническом пространстве или, как полагал Аристотель, были когда-то изобретены? А как относиться к иррациональным числам, например числу  $\pi$ ? Или к таким воображаемым числам, как квадратный корень от числа 2? Подобные вопросы время от времени беспокоили меня, но я не очень расстраивался, когда осознавал, что ответов мне не найти. Для Кэлмана же подобные проблемы были вопросом жизни и смерти. Он надеялся, что когда-нибудь сможет примирить исповедуемый Брауэром платоновский интуитивизм с верой Гилберта в аристотелевский формальный метод – столь разные, но в то же время комплементарные точки зрения на реалии математики.

Когда я рассказал о Кэле родителям, то они первым делом, узнав, насколько далеко моего друга занесло от дома, пригласили его на уикенд в наш лондонский дом, чтобы он отдохнул в уютной обстановке и отведал домашней еды. Он очень понравился родителям, но мать была крайне возмущена, когда на следующее утро обнаружила, что одна из простыней, на которых спал Кэл, была вся в чернилах – он исписал ее математическими формулами. Когда я объяснил матери, что Кэл – гений и что он использовал нашу простыню для разработки новой теории в математической логике (здесь я немного преувеличивал), ее возмущение сменилось чувством благоговения, и она настояла, чтобы никто не посмел ни стереть формулы, ни выстирать простыню – на тот случай, если в следующий приезд Кэлман пожелает вернуться к своим гениальным заметкам.

До этого Кэлман учился в Рид-колледже в Орегоне, который, как он поведал, был славен своими особо одаренными студентами; он же достиг столь выдающихся успехов, что равных ему в колледже не было много лет. Кэлман сказал об этом так просто и таким скучным тоном, словно говорил о погоде. Это были просто факты – и ничего более. Похоже, он считал меня человеком способным, несмотря на явную неорганизованность и алогичность моего мышления. Кэл полагал, что способные люди обязаны жениться на таких же способных людях и производить на свет способных детей, и с этой мыслью в голове он устроил мне встречу с некой мисс Исаак из Америки, которая также была стипендиаткой фонда Родса. Рэл Джин была спокойной, скромной девушкой, но (как предупредил меня Кэлман) острой, как алмаз, и на протяжении обеда мы только и делали, что обменивались абстракциями. Расстались мы дружески, но потом уж не встречались, да и Кэлман более не пытался найти мне подружку.

Весной 1952 года, во время наших первых долгих каникул, мы с Кэлманом отправились в путешествие автостопом через Францию в Германию. Спали мы в отелях для молодежи и где-то подцепили вшей. Пришлось побрить головы. Один из наших однокашников по Королевскому колледжу, элегантный Герхард Синцхеймер, который проводил летние каникулы с родителями в их доме у озера Титизее в Шварцвальде, пригласил нас погостить. Когда мы с Кэлманом явились, грязные, с бритыми головами и с историей о том, как мы подхватили паразитов,

родители Синцхеймера сразу отправили нас в ванную, а одежду подвергли химической обработке. Проведя несколько мучительных дней с изысканными Синцхеймерами, мы двинули в Вену (которая тогда была в значительной степени Веной «Третьего человека» – фильма Кэрола Рида) и там отведали всех известных человечеству спиртных напитков.

Хотя я и не готовился к получению академической степени по психологии, иногда я ходил на лекции по этому предмету. На отделении психологии я видел Дж. Дж. Гибсона, смелого теоретика и экспериментатора в сфере визуальной психологии, который приехал в Оксфорд в творческий отпуск из Корнелла. Гибсон только что выпустил свою первую книгу, «Восприятие видимого мира», и был рад позволить нам поэкспериментировать со специальными очками (на один глаз и на два сразу), которые переворачивали картинку, которую мы обычно видим. Нет ничего более странного, чем видеть мир поставленным с ног на голову; и тем не менее через несколько дней мозг адаптируется к этому способу видения и переориентирует картинку видимого мира (которая вновь встанет «на голову», когда экспериментатор снимет очки).

Меня увлекали и визуальные иллюзии; они доказывали, насколько бессильны интеллект, интуиция и даже здравый смысл перед нарушениями восприятия. Из опытов с очками Гибсона мне было ясно, что сознание хорошо справляется с оптическими искажениями. Но оказалось, что мозг совершенно неспособен упорядочить восприятие, когда имеет дело с визуальными иллюзиями.

Ричард Сэлидж. Прошло уже шестьдесят лет, но я по-прежнему вижу лицо Ричарда, его гордую осанку – он держал себя как лев. Первый раз я увидел его в Оксфорде в 1953 году возле колледжа Магдалины, и мы разговорились. Подозреваю, что именно Ричард начал беседу, поскольку я слишком стеснителен, чтобы первым вступить в контакт, а в этот раз красота Ричарда сделала меня еще более стеснительным. Во время первого разговора он поведал, что является стипендиатом фонда Родса, что он поэт и что дома в США он изрядно попутешествовал, сменив множество мест работы. Знание мира и людей у Ричарда было куда значительнее, чем у меня, даже если учесть разницу в возрасте (ему было двадцать четыре, мне – двадцать), и гораздо более широкое, чем у большинства выпускников школы, которые сразу поступают в университет, так и не пожив реальной жизнью в период между школой и университетом. Что-то во мне Ричарду показалось интересным, и мы вскоре стали друзьями. Более того – я в него влюбился. В первый раз в своей жизни.

Я полюбил его лицо, тело, ум, поэзию – все, что касалось этого человека. Он часто приносил мне только что написанные стихи, а я в обмен показывал ему свои эссе по физиологии. Думаю, я не единственный, кто влюбился в Ричарда; были и другие – и мужчины, и женщины. Разве можно было не влюбиться в его красоту, замечательные дарования, не заразиться его любовью к жизни! Он много и свободно говорил о себе: о своем ученичестве у поэта Теодора Рётке, о дружбе со многими художниками; он целый год посвятил живописи, пока не понял, что, какими бы талантами он ни был наделен, его главная страсть – поэзия. Ричард постоянно держал в голове образы, слова, стихотворные строки; он целыми месяцами работал над ними сознательно или бессознательно, прежде чем они становились законченным стихотворением или бывали отброшены и забыты. Его стихотворения публиковались в «Энкаунтер», литературном приложении к «Таймс», «Айсис» и «Гранта», и его очень поддерживал сам Стивен Спендер. Я думаю, Ричард был настоящим гением – или же был готов стать гением.

Мы ходили с ним на прогулки, беседуя о поэзии и науках. Ричарду нравилось, когда я «заводился» по поводу химии и биологии или когда я с энтузиазмом говорил о любимых предметах. Тогда робости моей как не бывало. Хотя я и понимал, что влюблен в Ричарда, я опасался признаться в этом: говорила же мать, что это «омерзительно». Но каким-то мистическим, совершенно чудесным образом сам факт влюбленности в человека, подобного Ричарду,



оказался для меня источником гордости и радости. И вот однажды, чувствуя, что сердце у меня готово выпрыгнуть из груди, я сказал Ричарду, что люблю его, даже не представляя, что он на это скажет и как отреагирует. Он обнял меня и сказал:

– Знаю. Я по-другому устроен, но понимаю и очень ценю то, что ты чувствуешь. Тебя я тоже люблю, по-своему.

Меня не отвергли, и сердце мое не было разбито. Ричард сказал то, что должен был сказать, причем сделал это самым деликатным образом. Наша дружба продолжалась и была для нас еще более радостной и приятной, поскольку я безвозвратно похоронил некоторые, ставшие бесполезными, болезненные надежды.

Я надеялся, что дружба будет связывать нас всю жизнь. Ричард, как мне кажется, тоже. Но однажды он пришел в мою университетскую берлогу с видом крайне обеспокоенным. Чуть раньше он заметил припухлость в паху, однако поначалу не придавал этому значения, полагая, что все пройдет само собой. Но постепенно опухоль росла и стала причинять беспокойство. Я учился на подготовительном отделении медицинского колледжа и мог, как он полагал, взглянуть на то, что происходит. Он спустил брюки, и в левом паху я увидел опухоль размером с куриное яйцо. Она была четко очерчена и тверда на ощупь. Первой мыслью было – рак!

– Немедленно покажись доктору, – сказал я. – Нужна биопсия.

Паховую железу подвергли биопсии, и был поставлен диагноз: лимфосаркома. Ричарда известили, что более двух лет ему не протянуть. Сказав мне об этом, мой друг уже со мной не говорил никогда. Ведь это я первым сообщил ему о смертоносном характере его опухоли, и, вероятно, во мне он теперь видел посланника смерти.

Но сдаваться Ричард не собирался. Остаток отпущенного ему времени он решил прожить полной жизнью. Женившись на Мэри О'Хара, арфистке и певице из Ирландии, он отправился в Нью-Йорк, где и умер через пятнадцать месяцев. В последний период жизни он написал многие свои лучшие стихи.

Итоговые экзамены в Оксфорде сдают в конце третьего года. После экзаменов меня оставили заниматься исследовательской работой, и впервые за все время пребывания в университете я почувствовал себя одиноким, поскольку все однокурсники разъехались.

После того как я выиграл приз Теодора Уильямса, мне предложили должность исследователя при отделении анатомии, но я отклонил предложение, несмотря на то, что всегда с восхищением смотрел на профессора анатомии Уилфрида Ле Грос Кларка, человека выдающегося, но чрезвычайно открытого и доступного.

Ле Грос Кларк был отличным преподавателем, раскрывавшим особенности человеческой анатомии с учетом логики ее эволюции, и был в те времена известен своей ролью в разоблачении мистификации, связанной с находкой в 1912 году черепа так называемого Пилтдаунского человека. Но я отказался от работы под его руководством, потому что к тому моменту был соблазнен серией чрезвычайно живых и интересных лекций по истории медицины, которую прочитал университетский специалист по теории питания человека Х. М. Синклер.

Я всегда любил историю, и даже в детские годы, связанные с увлечением химией, меня интересовали прежде всего личность и жизнь химика, а также те конфликты и перипетии, что сопровождали сделанные ученым открытия. Химия меня интересовала как наука, которой занимаются конкретные люди. И теперь, слушая лекции Синклера, я постигал историю физиологии, знакомился с личностями физиологов, их идеями, которые лектор в своих рассказах преподносил как факты человеческой жизни.

Мои друзья, даже мой наставник из Королевского колледжа, пытались предостеречь меня, отговорить от того, что, как они полагали, являлось ошибочным шагом. Отговорить меня было непросто, несмотря на то, что я уже слышал сплетни относительно Синклера; ничего, впрочем, особенного: просто он считался «своеобразной» и достаточно изолированной от других людей фигурой, а университет вроде бы собирался закрыть его лабораторию.

Насколько я ошибся, я понял, когда вступил под сень ЛПЧ – Лаборатории питания человека.

Синклер отличался энциклопедическими знаниями, по крайней мере знаниями историческими, и он предложил мне поработать над тем, о чем я знал только понаслышке. Это был так называемый «джейк-паралич», появившийся во времена «сухого закона» в Америке. В те годы пьяницы, лишившись доступа к нормальному алкоголю, обратились к экстракту ямайского имбиря, или «джейка», обладавшему свойствами очень крепкого алкогольного напитка и доступному тогда в качестве тонизирующего средства. Когда способность «джейка» вызывать состояние опьянения стала известна правительству, власти распорядились добавлять в него отличающийся ужасным вкусом триортокрезилфосфат, или ТОКФ, который оказался очень мощным, хотя и медленного действия, нейротоксином. Ко времени, когда это стало ясным, более пятидесяти тысяч американцев были отравлены этим ядом, причем последствия отравления в ряде случаев оказались необратимыми. Поражение нервной системы ТОКФ вызывало судороги и последующий паралич верхних и нижних конечностей и было причиной появления у больных так называемой «джейк-походки».

Каким конкретно способом ТОКФ вызывает поражение нервной системы, оставалось неясным, хотя и предполагалось, что он оказывает воздействие главным образом на миелиновые оболочки нервных волокон, и, как говорил Синклер, против него не было пока известных антидотов. Он хотел, чтобы я смоделировал течение заболевания на животных. Я, исходя из своей любви к беспозвоночным, сразу же подумал о земляных червях: у них гигантские, покрытые миелином нервные волокна, которые позволяют червю при угрозе или ранении немедленно сворачиваться клубком. Подобные нервные волокна были достаточно простым объектом изучения; что о самих червях, то их можно было найти где угодно и сколько угодно. В компанию к червям я мог пригласить цыплят и лягушек.

Как только мы обсудили проект, Синклер закрылся в заставленном книгами офисе и стал совершенно недоступен – не только для меня, но и для прочих сотрудников Лаборатории питания человека. Другие исследователи – люди бывалые – радовались, что их оставили в покое, позволив без помех заниматься делом. Я же, напротив, был новичком и страшно нуждался в руководстве и совете. Несколько раз я рискнул пробиться к Синклеру, но после полудюжины попыток понял, что это безнадежное дело.

С самого начала все пошло наперекосяк. Я не знал, какой концентрации должен был быть ТОКФ, в каком растворе его следовало вводить и не нужно ли было этот раствор подсластить, чтобы отбить неприятный вкус. Черви и лягушки поначалу отказались от моей стряпни, цыплята же готовы были сожрать что угодно – весьма неприглядное зрелище. Но вскоре, несмотря на их обжорство, писк и беспрестанную возню, я привязался к своим цыплятам, даже испытывал некую гордость за их шумливый характер и энергичное поведение. Тем не менее через несколько недель ТОКФ начал действовать, и ножки у моих цыплят стали слабеть. На этом этапе, полагая, что воздействие ТОКФ подобно воздействию нервно-паралитических газов, нарушающих работу ацетилхолина, который выполняет функции нейротрансмиттера, в качестве антидота я ввел уже полупарализованным цыплятам антихолинэргические препараты, но не рассчитал дозировку и прикончил их. Тем временем цыплята из контрольной группы, которым я не вводил антидот, слабели на глазах – зрелище, вынести которое я мог с трудом. Концом – и для меня как исследователя эффекта ТОКФ, и для самого исследования – было постепенное угасание моей любимицы (имени у нее не было, только номер – 4304). Это существо, исключительно понятливое, с покладистым характером, упало на пол клетки, не в силах стоять на парализованных ногах, и жалобно постанывало. Когда я (использовав хлороформ) принес ее в жертву науке, то обнаружил на миелиновых оболочках ее периферических нервных волокон и нервных аксонах спинного мозга обширные разрушения – такие же, какие были обнаружены при вскрытии погибших от воздействия ТОКФ людей.

Также я выявил, что ТОКФ убивает у червей рефлекс внезапного сворачивания клубком, но что прочие движения этих беспозвоночных остаются ненарушенными, из чего я сделал вывод, что яд поражает только миелиновые оболочки, а немиелиновые не трогает. Но я уже понимал, что мое исследование закончилось полным провалом и мне никогда не быть ученым-исследователем. Написав отчет о проделанной и проваленной работе, яркий и довольно личного характера, я постарался выбросить этот грустный эпизод из головы.

Очень расстроенный своей неудачей, совершенно одинокий, поскольку все мои друзья покинули университет, я постепенно погрузился в состояние тихого, но в какой-то степени и напряженного отчаяния. Единственное облегчение мне приносили физические упражнения, и каждое утро я совершал долгую пробежку по дорожке, тянувшейся вдоль берега реки Айсис. После часового бега я нырял в реку, плавал, а затем, мокрый и продрогший, бежал назад, в свою берлогу напротив колледжа Церкви Христовой. Затем я жадно проглатывал холодный обед (цыплят есть я больше не мог) и до глубокой ночи сидел и писал. Эта писанина, которую я озаглавил «Мой ночной колпак», была лихорадочной и безуспешной попыткой соорудить хоть какую-нибудь сносную философскую программу, рецепт дальнейшей жизни. Я пытался хотя бы сформулировать причину, по которой можно было продолжать жить и работать.

Мой наставник из Королевского колледжа, который когда-то попытался предостеречь меня от работы с Синклером, узнал о моем состоянии (что было и удивительно, и приятно – я и думать не мог, что он еще помнит о моем существовании) и известил о своей озабоченности моих родителей. Посоветовавшись, они решили, что меня нужно отозвать из Оксфорда и поместить в рамки какого-нибудь дружественного и заботливого сообщества, где бы я занимался физической работой с утра и до глубокой ночи. Родители сочли, что эту роль сможет исполнить кибуц, а мне, у которого не было ни религиозных, ни сионистских предрассудков, идея пришлась по душе. И вот я отправился в Эйн-ха-Шофет, «англосаксонский» кибуц возле Хайфы, где я мог использовать английский до той поры, пока не научусь бегло говорить на иврите.

В кибуце я провел лето 1955 года. Мне дали выбрать место работы: я мог трудиться в питомнике деревьев или ухаживать за цыплятами. Последние вызывали во мне чувство ужаса, и потому я предпочел питомник. Мы вставали до рассвета, всей коммуной завтракали и отправлялись на работу.

Меня поразили огромные миски рубленой печени, которую подавали даже во время завтрака. В кибуце не было крупного скота, и я не мог понять, как разводившиеся там куры могли поставлять сотни фунтов печени, которую мы ежедневно поглощали. Когда я спросил об этом, раздался дружный смех, и мне сказали, что за печень я принял баклажаны, которых в Англии до этого я никогда не пробовал.

Я со всеми был в хороших отношениях, поддерживал разговор, но близко ни с кем не сдружился. В кибуце жило много семей, точнее, кибуц был одной большой семьей, где все родители заботились обо всех детях сразу. Я среди них был одиночкой, который никак не планировал связать жизнь с Израилем (как это сделали многие из моих двоюродных братьев). Трепаться по пустякам я был не мастер, и за первые два месяца жизни в Израиле, несмотря на интенсивные занятия в ульпане, в иврите я продвинулся очень недалеко, хотя на десятой неделе неожиданно начал понимать и произносить фразы на этом языке. И тем не менее жизнь, полная тяжелого физического труда, а также компания дружелюбных умных людей послужили отличным лекарством после одиноких, полных страданий месяцев, которые я провел в лаборатории Синклера, где вся моя жизнь была замкнута в пространстве моей головы.

Были и осязаемые физические результаты. В кибуц я прибыл бледной неоформленной тушкой, весящей двести пятьдесят фунтов. Когда же я покинул его три месяца спустя, во мне было на шестьдесят фунтов меньше, и я чувствовал, что гораздо лучше владею своим телом.

Покинув кибуц, несколько недель я провел, путешествуя по стране, стараясь составить впечатление об этом молодом, полном возвышенного идеализма, осажденном врагами государстве. Во время пасхальной службы в церкви, вспоминая исход евреев из Египта, мы привыкли говорить: «В следующем году – в Иерусалиме», а теперь я воочию увидел город, где за тысячу лет до пришествия Христова Соломон построил свой храм. Правда, в те годы Иерусалим был разделен, и пройти в Старый город не мог никто.

Я изучал прочие части Израиля: Хайфу, старый портовый город, который я очень любил, Тель-Авив, медные копи в Негеве, которые, как считается, принадлежали царю Соломону. Меня всегда восхищало то, что я читал о каббалистическом иудаизме, особенно его космогония; и я совершил свое первое путешествие, своего рода паломничество, в Сафед, где в шестнадцатом веке жил и проповедовал великий мистик Исаак Лурия.

А затем я направился к истинной цели своего путешествия – Красному морю. В то время Эйлат имел население не более нескольких тысяч, которое ютилось в палатках и хижинах (теперь на побережье стоят сверкающие отели, а население насчитывает пятьдесят тысяч). Целыми днями я плавал с маской и трубкой, а также в первый раз погрузился с аквалангом – еще достаточно примитивным тогда устройством (когда несколько лет спустя я в Калифорнии получил сертификат аквалангиста, конструкция акваланга была существенно усовершенствована, и плавать с ним стало много легче).

Я вновь задумался – как задумывался, когда впервые отправился в Оксфорд, – а действительно ли я хочу стать врачом. Меня очень интересовала нейрофизиология, но я любил и биологию моря, особенно морских беспозвоночных. Вот бы объединить эти два предмета, допустим, в исследовании нейрофизиологии морских беспозвоночных, например, головоногих, этих гениев среди беспозвоночных!<sup>2</sup>

Часть моего существа готова была остаться в Эйлате до конца жизни – плавать, нырять, погружаться с аквалангом, заниматься биологией моря и нейрофизиологией беспозвоночных. Но родители уже проявляли нетерпение – я слишком долго болтался без дела в Израиле. Теперь, когда я «излечился», пора было возвращаться в медицину, начать работу в клинике, лечить пациентов в Лондоне. Но было еще кое-что, оставшееся несделанным, – то, что раньше казалось невыполнимым. Мне был двадцать один год, по-моему, я очень хорошо выглядел – загорелый, стройный... Какое же право я имею до сих пор быть девственником?

В Амстердам я до этого пару раз ездил с Эриком. Нам нравились местные музеи и Концертгебау (концертный холл в Амстердаме; именно там я в первый раз услышал «Питера Граймса» Бенджамина Бриттена, правда по-голландски). Хороши были каналы, застроенные по берегам высокими домами, подъезды которых обязательно выходили на площадку, а от площадки к мостовой сбегала лестница в десяток ступенек; старый Ботанический сад, великолепная португальская синагога семнадцатого века, площадь Рембрандта – Рембрандтплейн – с ее артистическими кафе под открытым небом... А свежая сельдь, которая продается на улице и здесь же поедается, а общая атмосфера дружелюбия и открытости, которая присуща городу...

Но сейчас, после поездки на Красное море, я решил отправиться в Амстердам один, чтобы потерять там себя, а если точнее, чтобы потерять там девственность. Но как? Ведь учебников по этому предмету нет. Может быть, я должен выпить, и крепко, чтобы залить свою застенчивость, нервозность, «вырубить» свои лобные доли?

---

<sup>2</sup> Моим экзаменатором по зоологии, когда в 1949 году я сдавал экзамены на получение свидетельства об окончании школы, был великий зоолог Джон Захари Юнг, который открыл наличие гигантских нервных аксонов у кальмаров. Именно исследование этих аксонов через несколько лет впервые привело нас к действительному пониманию электрических и химических основ нервной проводимости. Сам Юнг каждое лето работал в Неаполе, изучая поведение и мозг осьминога. Я думал о том, чтобы поработать с Юнгом, по примеру моего оксфордского однокурсника Стюарта Сазерленда.



На Вармоестраат, около железнодорожного вокзала, есть чудесный бар, куда мы с Эриком частенько заходили выпить. Пили мы понемногу, но сейчас, в одиночестве, я хотел набраться крепко – голландский джин обязан был пробудить во мне голландскую отвагу. Я пил и пил, пока бар не исчез из поля зрения, а звуки не начали пухнуть и отступать. Я не понимал, насколько пьян, пока не встал. Бармен, увидев, как меня качает, проговорил «Генуг! (Довольно!)» и спросил, не нужно ли мне помочь добраться до отеля. Я отказался, сказав, что мой отель через дорогу, и выполз на улицу.

Должно быть, я сразу вырубился, потому что, когда на следующее утро я пришел в себя, я лежал не на своей кровати, а на чужой. По помещению распространился уютный запах готовящегося кофе, а вслед за ним вошел мой хозяин и спаситель, в халате, с двумя чашками кофе.

Он сказал, что нашел меня пьяным в стельку на тротуаре, привел к себе домой и... трахнул.

– Тебе понравилось? – спросил я.

– О да! – ответил он.

Ему очень понравилось – жаль только, сказал он, что я был в отрубе и не смог получить удовольствие.

За завтраком мы поговорили обо всем: о моих сексуальных страхах и комплексах, об опасно-запретительной атмосфере в Англии, где гомосексуальность считается преступлением. В Амстердаме, сказал он, все совсем не так. Гомосексуализм между взрослыми, которые сознательно идут на связь, вещь вполне допустимая – в этом нет ничего незаконного, патологического или достойного порицания. Здесь много баров, кафе и клубов, куда ходят только геи (до этого я никогда не слышал слова «гей» – «веселый, жизнерадостный» – в таком значении). Мой хозяин сказал, что будет рад сводить меня в одно из таких местечек или просто дать адреса, чтобы я исследовал их сам.

– И совсем необязательно, – добавил он уже серьезно, – напиваться до чертиков, отключаться и валяться в сточной канаве. Это очень опасно и очень печально. Надеюсь, с тобой это в первый и последний раз.

Я вздохнул с облегчением. Разговор со знающим человеком снял с моих плеч тяжелое бремя самообвинения. Снял или по крайней мере приподнял и сделал гораздо легче.

В 1956 году, после проведенных в Оксфорде четырех лет и всех моих приключений в Израиле и Голландии, я вернулся домой и принялся по-настоящему изучать медицину. В течение почти тридцати месяцев я продирался сквозь общую медицину, хирургию, ортопедию, педиатрию, неврологию, психиатрию, дерматологию, инфекционные заболевания и прочие специализации, обозначаемые только аббревиатурами GI (гастроэнтерология), GU (урология), ENT (отоларингология или «ухо-нос-горло»), OB/GYN (акушерство и гинекология).

К моему изумлению (но к радости матери), у меня проявились способности к акушерству. В те годы рожали дома (я сам появился на свет дома, как и все мои братья). Роды принимали главным образом акушерки, а мы, студенты-медики, им ассистировали. Обычно раздавался телефонный звонок, часто среди ночи, оператор из больницы диктовал мне имя и адрес, а иногда еще и добавлял: «Поторопись!»

Мы с акушеркой, оба на велосипедах, встречались возле дома и шли в спальню, а иногда – на кухню – порой проще было рожать именно на кухонном столе. Муж и остальные члены семьи обычно ждали в соседней комнате, наострив уши на первый крик ребенка. Больше всего волновал меня в этой драме чисто человеческий аспект: это была настоящая жизнь, и участвовать в ней, играть свою роль можно было не только в стенах больницы.

Нас, студентов-медиков, не слишком перегружали лекциями или заучиванием инструкций. Главному мы учились возле кровати больного: слушать пациента, задавать ему правильные вопросы и, на основе беседы, определять «настоящее состояние». Основными инструмен-

тами становились глаза и уши, кончики пальцев и даже обоняние. Уметь выслушать сердце, перкутировать грудную клетку, пальпировать живот – все это было не менее важно, чем беседа с пациентом. Хороший врач устанавливает с больным глубокий физический контакт, и здесь простое прикосновение рук может оказаться мощным терапевтическим средством.

Я закончил курс и получил диплом 13 декабря 1958 года. Начинать я должен был с первого января в Мидлсексе в качестве врача-стажера<sup>3</sup>. Как это радостно и в то же время удивительно – вдруг понять, что ты – врач, что ты наконец добился этого (мне казалось, что я никогда не получу диплом врача; и до сих пор мне иногда снится, что я все еще студент, что «завяз» на студенческой скамье). Я радовался, но одновременно мною владел испуг. Я был уверен, что все у меня пойдет наперекосяк, я наломаю дров и все увидят, что перед ними – неисправимый и даже опасный для окружающих растяпа. И я решил, что две недели, которые предшествовали выезду на место работы в Мидлсекс, мне будет полезно поработать дежурным врачом в больнице в Сент-Олбансе, где во время войны мать работала хирургом «Скорой помощи», – так я приобрету и навыки работы, и, главное, уверенность в себе.

В первое же дежурство меня вызвали к больному в час ночи: поступил ребенок с бронхитом. Я поспешил в палату к своему первому пациенту – четырехмесячному младенцу с синевой вокруг губ, высокой температурой, учащенным дыханием и хрипами в легких. Сможем ли мы с сестрой спасти малыша? Есть ли надежда? Сестра, заметив мой страх, поддержала меня и помогла. Мальчика звали Дин Хоуп<sup>4</sup>, и, как ни абсурдно это звучит для человека несуетливого, его имя мы восприняли как добрый знак, будто оно определило судьбу малыша. Мы работали всю ночь, и, когда за окнами поднялся серый рассвет, Дин был вне опасности.

Первого января я начал работу в больнице в Мидлсексе. Репутация у этого учреждения была очень высока, несмотря на то, что ему не хватало духа старины, витавшего вокруг «Бартса», больницы Святого Варфоломея, которая была открыта еще в двенадцатом веке. В «Бартсе» проходил интернатуру мой старший брат Дэвид. Мидлсексская больница, сравнительно новое заведение, была основана в 1745 году и в дни моей работы занимала современное здание, построенное в конце 1920-х годов. Здесь служил и стажировался мой средний брат, Марк, и теперь я шел по его стопам.

Шесть месяцев я провел в отделении общей терапии и шесть – в отделении неврологии, где моими начальниками были Майкл Кремер и Роджер Джиллиатт, оба яркие личности, но совершенно несовместимые как коллеги.

Кремер был человеком общительным, дружелюбным и чрезвычайно обходительным. У него была странная, слегка перекошенная улыбка – то ли из-за привычного для него ироничного взгляда на мир, то ли как следствие периферического паралича лицевого нерва (мне так и не удалось этого выяснить). Он не скупился на время, когда речь шла об общении с пациентами или интернами.

Джиллиатт был его полной противоположностью – резкий, нетерпеливый, едкий на слово, раздражительный, в любой момент готовый (так мне иногда казалось) к яростному взрыву. Его гнев, как мы, интерны, подозревали, могла спровоцировать и незастегнутая пуговица. У Джиллиатта были огромные, свирепые, черные как смоль брови, движением которых он нагонял ужас на подчиненных. Недавно назначенный на должность врача-консультанта, он был одним из самых молодых врачей этого уровня – ему еще не было сорока<sup>5</sup>. Но воз-

---

<sup>3</sup> В Соединенных Штатах это называлось бы интернатурой; в Англии же интерны – это живущие при больнице врачи-стажеры, ординаторы.

<sup>4</sup> Норе (англ.) – «надежда». – *Примеч. пер.*

<sup>5</sup> Это впечатляло, хотя моя мать, и я постоянно помнил об этом, стала врачом-консультантом в возрасте двадцати семи лет.

раст не делал его менее опасным для молодняка, скорее наоборот. За выдающуюся храбрость, проявленную на войне, Джиллиатт заслужил Военный крест и с тех лет сохранил и военную выправку, и повадки военного. Я боялся его настолько, что впадал в ступор, стоило ему обратиться ко мне с вопросом. И многие его интерны, как я потом понял, реагировали на босса сходным образом.

У Кремера и Джиллиатта были разные подходы к осмотру больных. Джиллиатт заставлял нас методично, в установленном порядке, не отклоняясь ни на йоту, пройти через все уровни: черепно-мозговые нервы (ни один не должен был остаться без внимания), моторная система, сенсорная система. Ни в коем случае нельзя было перепрыгивать через промежуточные стадии, прицепившись к бросающемуся в глаза симптому, будь то увеличенный зрачок, фасцикуляция или отсутствие брюшного рефлекса<sup>6</sup>. Диагностика для Джиллиатта была процессом, следующим точному алгоритму.

Джиллиатт был прежде всего ученым, нейрофизиологом по образованию и темпераменту. Похоже, ему было жаль тратить время на больных (и интернов), хотя, как я позже узнал, он был совершенно другим человеком – доброжелательным и благосклонным – со студентами, которые под его руководством занимались научными исследованиями. Истинные его интересы, которым он следовал со страстью настоящего ученого, лежали в сфере исследования расстройств периферической нервной системы и механизмов мускульной иннервации – в этой области ему со временем было суждено стать мировой величиной.

Кремер, напротив, был радикальным интуитивистом. Я помню, как однажды он поставил диагноз вновь поступившему больному, едва мы вошли в палату. Заметив пациента, который находился от нас на расстоянии тридцати ярдов, он возбужденно схватил меня за руку и прошептал на ухо:

– Синдром яремного отверстия.

Это – чрезвычайно редкое расстройство, и я был поражен, как Кремеру удалось диагностировать его с первого взгляда, да еще на значительном расстоянии.

Когда я смотрел на Кремера и Джиллиатта, я вспоминал отмеченное Паскалем в начале «Мыслей» различие между интуицией и рациональным анализом. Кремер уповал преимущественно на интуицию, он все видел с первого взгляда, и видел иногда гораздо больше, чем мог оформить словами. Джиллиатт был в основном аналитиком, он рассматривал явления последовательно, одно за другим, но видел и предпосылки, и последствия каждого из них до самых потаенных глубин.

Кремер обладал поразительной особенностью к сопереживанию и состраданию. Казалось, что он проникает в самое сознание своих пациентов, постигая интуитивно их страхи и надежды. Наблюдая за их движениями и позами, Кремер напоминал театрального режиссера, который, не сводя глаз с актеров, управляет их игрой. Одна из его работ – моя любимая – называлась «Больной сидит, больной стоит, больной идет». Этот труд показывает, как много он видел и понимал в больном еще до начала неврологического осмотра, до того, как больной открывал рот и начинал говорить.

Принимая по пятницам амбулаторных больных, Кремер мог за день пропустить до тридцати пациентов, но каждому из них было гарантировано его полное внимание, понимание и сочувствие. Пациенты души в нем не чаяли и часто говорили о его доброте и о том, что само его присутствие оказывает целебный эффект.

---

<sup>6</sup> Валентин Лоуг, их коллега из отделения этажом выше, обычно спрашивал молодых врачей, не замечают ли они чего-нибудь странного в его лице, и только со временем мы поняли, что у него проблема с глазами: один из зрачков размерами превосходил другой. Мы постоянно размышляли над причинами этой диспропорции, но Лоуг на этот счет нас так и не просветил.

Даже когда его интерны, после завершения курса, отправлялись на новые места работы, Кремер сохранял к ним интерес и участвовал в их жизни и карьере. Мне он посоветовал поехать в Америку, дал кое-какие наставления, а спустя двадцать пять лет, прочитав мою книжку «Нога как точка опоры», написал мне умное, содержательное письмо<sup>7</sup>.

Контактов с Джиллиаттом у меня было меньше – я думаю, мы в равной мере оба страдали от застенчивости, – но он написал мне, когда в 1973 году вышли мои «Пробуждения», и пригласил меня посетить его на Куинз-сквер. Теперь он не казался таким страшным, и в нем появились интеллектуальная и эмоциональная теплота, о наличии которых я и не подозревал. На следующий год он вновь пригласил меня, чтобы показать документальный фильм про моих пациентов из «Пробуждений». Я расстроился, когда Джиллиатт умер от рака, – ведь он был так молод и столь продуктивен как ученый! Тяжело я воспринял и несчастье, случившееся с Кремером, когда у этого общительного человека, который так любил поболтать и продолжал видаться со своими больными, уже будучи «в отставке», после удара развилась афазия. Оба они оказали на меня влияние – несомненно, положительное, но в разном ключе: Кремер научил меня наблюдательности и искусству интуиции, Джиллиатт – всегда думать о вовлеченных в процесс болезни физиологических механизмах. Сейчас, по прошествии пятидесяти лет, я вспоминаю их с любовью и благодарностью.

Мои занятия на подготовительном отделении в Оксфорде, где я изучал анатомию и физиологию, нисколько не подготовили меня к реальной медицине. Для меня оказалось совершенно новым то, что делают настоящие врачи: наблюдают пациентов, слушают их, пытаются проникнуть в их прошлый опыт (или по крайней мере представить его) и будущее, чувствуют озабоченность их судьбой, несут за них ответственность. Больные были реальными, иногда несдержанными индивидами с невымышленными проблемами. Часто больные стояли перед проблемой выбора, причем очень серьезного. И дело необязательно касалось диагноза и лечения, перед ними возникали и более существенные вопросы: стоит ли, например, жить в существующих обстоятельствах, при доступном им качестве жизни?

Все это обрушилось на меня, когда я был интерном в Мидлсексе и к нам в терапевтическое отделение со странными болями в ногах был доставлен молодой человек по имени Джошуа, спортсмен и пловец. На основе анализа крови был поставлен предварительный диагноз, но, пока ожидалось прочие результаты, молодого человека на выходные отпустили домой. Вечером в субботу он был на вечеринке с толпой молодежи, среди которой были и студенты-медики, и один из них спросил, почему Джошуа положили в больницу. Тот ответил, что не знает причины, и, сказав, что ему дали пить таблетки, показал их спросившему. Тот, увидев этикетку с надписью «6-М» (6-меркатопурин), выпалил:

– Господи, да у тебя лейкозия!

Когда в понедельник Джошуа вернулся в больницу, он был почти в отчаянии. Молодой человек принялся спрашивать, насколько определенным был его диагноз, может ли помочь

---

<sup>7</sup> Кремер писал: «Меня попросили посмотреть загадочного пациента в кардиологическом отделении. У него была фибрилляция предсердия, после чего в результате эмболии развился паралич левой половины тела. Меня попросили его посмотреть, потому что каждую ночь он падал с кровати, чему кардиологи не могли найти объяснения. Когда я спросил больного, что с ним происходит ночью, он совершенно открыто объяснил мне следующее: стоит ему проснуться среди ночи, как он сразу же обнаруживает рядом с собой в постели чью-то мертвую, холодную, волосатую ногу; смириться с этим он не может, а потому, используя оставшиеся здоровыми конечности, выбрасывает эту ногу из постели; правда, за этой ногой почему-то следует и все остальное, что лежит на кровати. Этот пациент явил собой прекрасный пример того, как парализованный больной теряет ощущение, что пострадавший член принадлежит именно ему, но, что интересно, мне не удалось узнать у него, принадлежит ли ему правая нога, потому что он был слишком озабочен левой, чужой, как он полагал». Я процитировал этот фрагмент письма Кремера, когда мне довелось описывать сходный случай (глава «Человек, который падал с кровати») в книге «Человек, который принял жену за шляпу».

лечение и что вообще его ждет. Был сделан анализ костного мозга, и диагноз подтвердился. Прием медикаментов, сказали Джошуа, даст ему некое дополнительное время, но и в этом случае болезнь будет быстро прогрессировать, так что в течение года, а то и раньше он умрет.

Днем я увидел, как Джошуа карабкается на перила балкона – палата была на третьем этаже. Я бросился к нему и стащил его с перил, бормоча что-то по поводу того, что и в таких условиях нужно уметь жить. Нехотя – решимость его прошла – Джошуа вернулся в палату.

Странные боли становились все сильнее, и теперь от них страдали не только ноги, но также руки и все туловище. Становилось ясно, что боль вызывают лейкемические инфильтраты в тех местах, где афферентные нервы подходят к спинному мозгу. Обезболивающие не помогали, хотя Джошуа прописали сильнейшие опиаты – и в инъекциях, и перорально, – а потом и героин. От боли он начал кричать и днем, и ночью, и на этом этапе единственным спасением была только закись азота. Но когда Джошуа отходил от анестезии, он вновь принимался кричать.

– Не нужно вам было тогда меня останавливать, – сказал он мне. – Хотя, наверное, у вас не было выхода.

По-прежнему мучаясь от невыносимой боли, Джошуа через несколько дней умер.

Непросто приходилось гомосексуалистам в Лондоне 1950-х годов. Такого рода занятия, если человека поймут, могли привести к тяжелым наказаниям – тюремному заключению или, как в случае с Аланом Тьюрингом, принудительной химической кастрации (ему ввели эстроген). Отношение к гомосексуалистам в обществе было таким же жестоким, как и отношение к ним законодателей. Геям было трудно встречаться; существовало несколько особых клубов и баров, но эти заведения находились под постоянным присмотром полиции. Везде шныряли агенты-provокаторы, особенно в общественных парках и туалетах; этих людей специально учили, как соблазнять доверчивых или неосторожных, а потом прижимать их с помощью закона к ногтю.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.